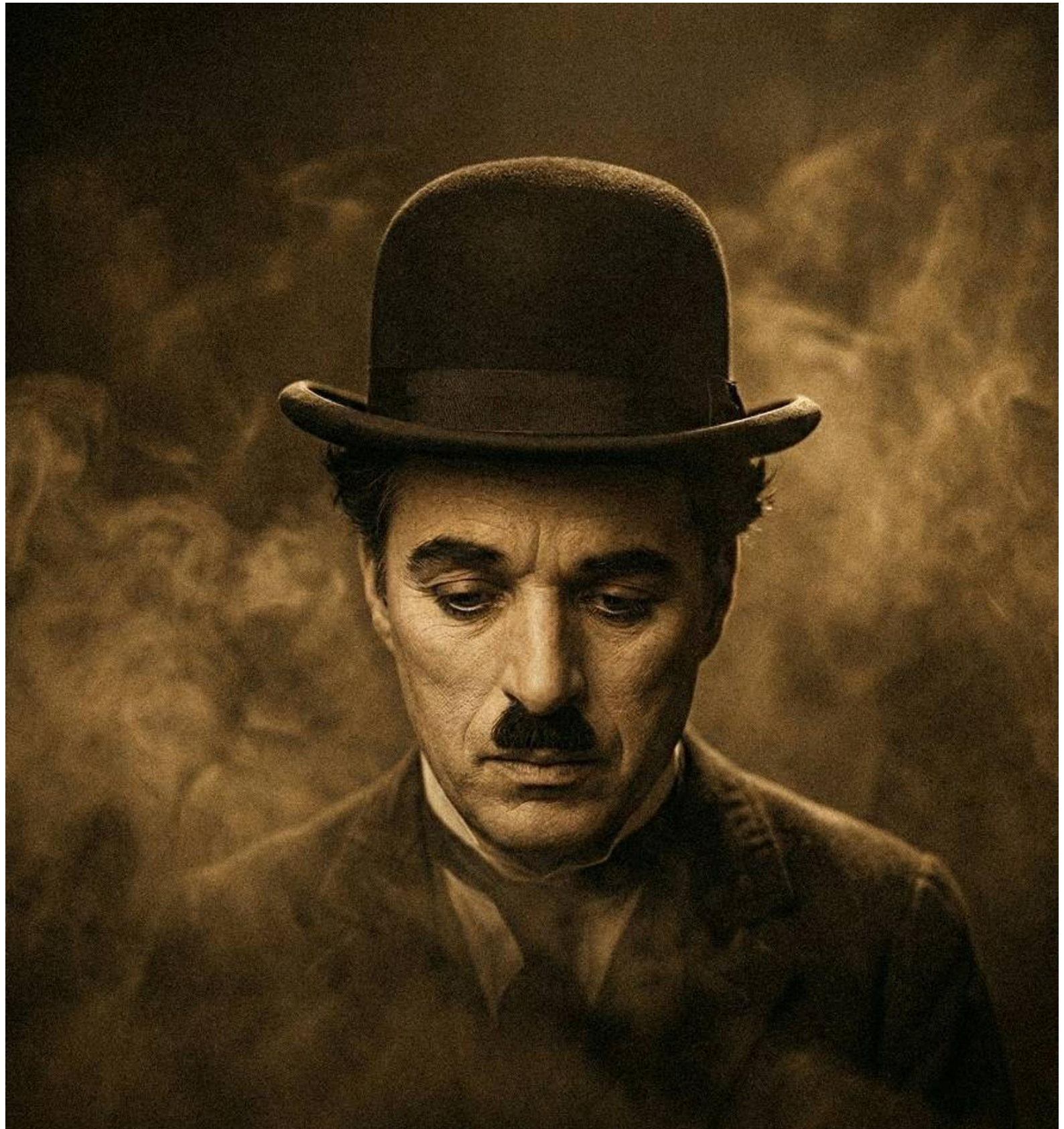




ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

Семён Маркович

В начале было Слово

Семён Маркович
Живые картинки

«Автор»

2026

Маркович С.

Живые картинки / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

Книга восьмая Мир больше не читает. Мир смотрит. Восьмая книга хроник Комитета погружает нас в эпоху, когда реальность окончательно сдалась перед игрой света и тени. Всё началось с прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота, когда толпа в ужасе бежала от плоской картинке на белой простыне. А закончилось тем, что полмиллиарда человек добровольно затаили дыхание, глядя на зернистый шаг человека по лунной пыли в 1969 году. Леонардус, высекавший Истину из слов, с горечью осознает, что Великий Текст стал лишь сценарием — немой служанкой для объектива. Мишель скрипит пером над Гроссбухом, пытаясь свести баланс в индустрии, торгующей пустотой, где картонные декорации Голливуда стоят дороже реального золота тамплиеров. Грегориус же ликует: манипулировать сознанием еще никогда не было так легко. Это история о том, как фикция подменила жизнь, и как бессмертные манипуляторы сами рискуют поверить в светящийся обман.

© Маркович С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Документ № 1	8
1. Местечко	9
2. Погром	15
3. Дорога	18
4. Орчард-стрит	22
5. Соседи	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Семён Маркович Живые картинки

Пролог

Париж, бульвар Капуцинок. 28 декабря 1895 года.

Случайностей в моей жизни немного, шестьсот лет учат замечать закономерности, и все они нехитрые, как рецепт супа, — тянет гарью, будет пожар, плачут в синагоге женщины, жди войны, пересчитывает Мишель деньги дважды, значит, их не хватит. Но бывает, что приметы молчат, и в тот вечер я не услышала ни одной, а нужно мне было всего-навсего обсохнуть под крышей и поспеть к поезду восемь сорок.

Декабрьский парижский дождь мелкий, настойчивый, холодный, и с неба он почти не шёл, а стоял в воздухе и лез под платье, куда его не звали. Плащ набух изнутри, от собственного пара, и деться ему некуда, а снаружи текло без передышки. Фонари горели жёлтым сквозь водяную пыль, от газовых рожков несло угольным дымом, от мостовой навозом, от булочной на углу — сдобой, и все запахи слиплись в один, мокрый и тяжёлый.

В левой руке я несла холщовый мешок, в правой — чужой зонт, одолженный у хозяйки меблированных комнат на Сент-Оноре, чёрный, с потрескавшейся кожей на рукояти. Трёх спиц из восьми в нём недоставало, вода собиралась в прорехах и капала мне на плечо, всё время в одну точку, и до вокзала оставалось три квартала такого удовольствия.

Послал меня Грегориус не с поручением, а «осмотреться», что на его языке значит: съезди, Розалия, купи на Центральном рынке чеснок, провансальский, с фиолетовой прожилкой, и пока торгуешься, послушай, о чём в городе говорят. Газет старик не читает и депеш не любит. Он нюхает, что я привезу, шупает сухую кожуру, спрашивает, почём отдали и легко ли уступили, и знает про Францию больше, чем из всех меморандумов Жанны.

Двенадцать головок я набрала к полудню, одна другой краше, все с кулак, и торговка отсчитывала их мне в мешок, приговаривая, что такой товар берут одни знающие люди. Шелуха шуршала на каждом шагу и к вечеру сделалась единственным моим утешением.

Вывеска попалась мне на глаза не сразу, и висела она не над дверью, как у людей, а над лестницей вниз — узкой, мокрой, с железными перилами. «Cinématographe Lumière», без завитушек и позолоты, без того типографского щегольства, каким кричат афиши варьете, а ниже, помельче: «Séance à 18 heures. Entrée: 1 franc».

За франк в Париже можно выпить кофе с круассаном, проехать через весь город в омнибусе, купить газету с банкой сардин или полчаса посидеть под крышей, где сухо. До отправления оставалось два часа, и я отдала его не раздумывая.

* * *

Внизу стояла духота, пахло отсыревшим фетром, мокрой шерстью и немного керосином. Распорядитель в зелёном жилете принимал монеты в мягкую шляпу и каждую пробовал на зуб, будто ему с утра до ночи платили фальшивым серебром, а рядом с ним переминался мальчишка лет двенадцати и кланчил пустить даром, обещая, что постоит у стены. Не пустили, и мальчишка ушёл наверх, а с середины лестницы обернулся и посмотрел вниз, и в этом взгляде было больше желания, чем у всех, кто заплатил.

У прохода сидела девочка лет десяти и держала билет обеими руками. Мать тянула к нему ладонь и повторяла, что потеряет, а дочь прижимала бумажку к животу и мотала головой, и к началу сеанса измяла её так, что читать было уже нечего.

Через ряд от меня грузный господин в клетчатом расстегнул пальто, устроился, как в собственной столовой, и сообщил соседке, что пришёл уже второй раз и что в первый было лучше видно. Ответа не последовало, и он повторил громче, для тех, кто не расслышал.

У самой машины топтался парень в переднике с масляным рукавом и всё трогал рукоятку, словно боялся, что она повернётся сама. На него прикрикнули, чтобы не лапал, и он отдернул руку, а через минуту положил обратно.

У стены, позади всех, держался молодой человек с усами, в хорошем пальто, под руку с женой. Мест хватало, и она показала ему на два свободных стула, а он остался на ногах и встал так, чтобы видеть не полотно, а машину.

Села я с краю, мешок на колени, сложила мокрые спицы, и с них натекло на пол. Стала ждать — дело привычное, первое, чему выучиваешься, когда время перестаёт тебя торопить.

* * *

Газ в рожках прикрутили, тени поползли вверх, потолок растворился, и на дальней стене остался белый прямоугольник — простыня на раме, с косой непроглаженной морщиной посередине, и складка шла наискось, как шрам. Позади застрекотало сухо и деловито, тррр-тррр-тррр, и парень завертел рукоятку ровным ходом, как вертят шарманку. Луч ударил в полотно.

Пошли рабочие с фабрики, женщины в косынках, велосипед, собака поперёк ворот. Клетчатый хмыкнул и шепнул спутнице, что вон та, вторая слева, в прошлый раз обернулась, а нынче нет. Девочка у прохода не шевельнулась. Усатый смотрел не на стену, а на луч, и глаза его шли по лучу назад, к машине, и обратно, будто он мерил расстояние. Видала я чуму в Авиньоне, пожар в Константинополе, погром в Кракове, так что удивить меня — дело не из лёгких, и первые минуты я думала про мокрые ноги.

После садовник поливал клумбу, а сорванец сзади наступил на шланг. Вода идти перестала, бедняга заглянул в наконечник, тут нога поднялась, и окатило его с головы до пят. Подвал захохотал в голос, девочка засмеялась тоненько и оглянулась на мать, разрешено ли, а клетчатый хлопал себя по колену и повторял, что ради этого и привёл её сюда. Усатый не смеялся, а повернул голову к машине и что-то сказал жене, и та качнула головой, не отрывая глаз от полотна.

Потом пошёл паровоз, чёрный, тяжёлый, с дымом из трубы, прямо на нас по натянутой холстине. Рельсы уходили вдаль, громада росла, женщина в первом ряду вскрикнула и полезла под стул, клетчатый привстал, забыв про свой второй раз, а девочка выронила билет и не стала поднимать. Я и сама дёрнулась, хотя уж мне-то бояться нечего, и поймала себя на том, что вцепилась в мешок обеими руками. Один усатый не двинулся с места, и глядел он в это время не на полотно, а на нас.

* * *

Следом на стене появился ребёнок с ложкой. Каша размазана по подбородку, мать вытирает ему рот, отец смеётся куда-то в сторону, а ложка ходит туда и обратно, и весь зал заулыбался чужому младенцу и его обеду. Девочка подобрала билет, а клетчатый снял шляпу и держал её на коленях, будто в церкви. И вот тут у меня похолодело внутри.

Молоком не пахло, о зубы не звякало, губ не обжигало, а тридцать пять человек сидели и любили то, чего нет. Тецеля я три недели учила ставить голос — дышать животом, тянуть гласную, замолкать перед главным словом, — и на площадь он выходил сам, потный, коренастый, с бегающим взглядом, и шли к нему не за листком в руке, а за хрипотцой. Кто хотел, мог подойти вплотную и заглянуть ему в лицо, и он, случалось, отворачивался. Здесь ни бумаги, ни живого горла, и спрашивать не с кого. Машина трещит позади, на стене светлое пятно, и оно не охрипнет, не устанет, не смутится.

Огни вспыхнули, зал загалдел и захлопал, публика потянулась к лестнице, а я осталась сидеть. Пустили следующий сеанс, и я досмотрела всё сначала, а потом ещё, и рабочие выходили с фабрики, и садовника окатывало, и паровоз шёл на нас, и ребёнку вытирали рот, и я

уже знала наперёд, что будет, а подвал ахал, как впервые. Усатый с женой тоже не поднялись, и, когда в третий раз дали свет, он отпустил её руку и пошёл вперёд, к распорядителю, против общего движения, и его толкали, и он не замечал, а я встала следом, забрала мешок с зонтом и слышала всё до слова.

— Продаются аппараты? — спросил он. — И сколько просят?

Распорядитель ссыпал монеты из шляпы в кошель, затянул шнурок и ответил, что аппараты не продают, а господину лучше зайти завтра, когда будет хозяин. Усатый поблагодарил, вернулся к жене и повёл её к выходу, а на верхней ступени обернулся и оглядел подвал долгим хозяйским взглядом, каким прицениваются к лавке перед покупкой.

— C'est l'avenir, — сказал он ей, и, может, не ошибся.

* * *

Вышла я на бульвар в четверть десятого, и поезд восемь сорок ушёл без меня. Ночевать пришлось у той же хозяйки, у которой брала зонт, и всю дорогу до Сент-Оноре меня разбирал смех пополам со злостью: опоздать на настоящий поезд, засмотревшись на нарисованный, — это надо суметь.

Мостовая блестела, жёлтые фонари двоились у меня под ногами и дрожали не хуже картинок на простыне, а от мешка тянуло чесноком, единственным живым запахом за весь вечер. Картинки не пахнут. Будущее — это бульон, а мне показали картинку бульона. Разницу объясню позже, когда дойдём до Луны.

Документ № 1

Записка Розалии Грегориусу. На обороте рецепта (бульон куриный, зимний, с укропом и чесноком, на двенадцать человек). Доставлена через Мишеля, январь 1896 года.

Грегориус.

Была в Париже. Привезла чеснок — провансальский, с прожилкой. Тебе будет вкусно.

В подвале на бульваре Капуцинок показывают картинки, которые ходят. Вход — франк. Народу душ тридцать. Стрекошет машинка, вроде швейной, из неё бьёт луч в натянутое полотно, и на нём — люди. Идут. Едят кашу. Катит поезд. Женщина вскрикнула — приняла за живого.

А это свет.

И верят. Не умом — глазами.

Спросить некого. Вот что худо.

Один там уже спрашивал, почём аппараты. Ему не продали. Он придёт завтра.

Подумай.

Суп в банке. Разогрей и ешь, не то остынет. Передай Леонардусу, он опять не ел.

Розалия.

* * *

Резолюция Грегориуса (крупно, три слова, чёрные чернила):

Принято к сведению.

Приписка Мишеля (мелко, на полях, синие чернила):

Доставка банки — 4 франка 20 сантимов. Чеснок — 1 франк 60 (двенадцать головок по тринадцать с третью сантима). Ночлег сверх плана — 3 франка. Итого по командировке — 41 франк 80. Смета превышена на 6 франков 80. Перерасход образован опозданием к поезду и входным билетом на так называемый «синематограф». Ни та, ни другая статья сметой не предусмотрены. Впредь прошу непредвиденные траты согласовывать заранее.

Приписка Леонардуса (старинный почерк с завитушками, зелёные чернила):

«Синематограф» — из греческого: κίνημα, движение, и γράφω, пишу. Записанное движение. Занятно. Хотя записывали его и до нас — на вазах, краснофигурных, где беглец и преследователь застыли в вечном полушаге. Разницы по существу не вижу.

P.S. Суп получил. Благодарю.

Приписка Жанны (резко, наискось, карандашом):

Разница есть. Вазу видит один. Простыню — тридцать. Через год — тысяча, а год спустя — миллион, и все в один вечер увидят то же самое. И тот, кто приходил за аппаратом, знает это лучше нас.

Приписка Грегориуса (под резолюцией, тем же почерком, позже, чернила чуть светлее):

Жанна преувеличивает. Как всегда.

1. Местечко

Минская губерния. 1900 год.

Колодец стоял посреди двора, один на два дома, наш и Мейеров. По нижнему венцу сруба зеленел в мае мох, а к ноябрю бурел, и время года я определяла по нему точнее, чем по календарю в синагоге, до которого ещё надо дойти.

Выходила я каждое утро в пять, когда небо ещё не решило, светлеть или подождать. За оврагом надрывался петух Гершеле-извозчика, скверно, будто его режут, и по этому крику поднималась вся улица.

Из-за стены заходила кашлем старшая дочь Мейеров, сухим, лающим, настырным, и слышал его весь двор. Мёда в доме не водилось, зато была луковица, и Сарра по утрам варила отвар и поила больную, хотя толку от него не больше, чем от слов утешения утопающему, — а сидеть сложа руки мать не станет.

Сама Сарра появлялась через минуту после меня, в пять с четвертью, и время я знала по церковному колоколу за оврагом. Он давно треснул и звучал как человек, который простудился и не лечится.

Первое, что я у неё видела, — ладони. В правой она несла пустое ведро, левой придерживала дверь, чтобы та не хлопнула и не подняла мужа. Спал Яков до шести, а ложился в полночь, чинил обувь при сальной свече, копоть за зиму съедала потолок, и тот опускался всё ниже, так что к апрелю, вставая со стула, он доставал до него теменем. Проплешина на макушке была не то от сажи, не то от возраста, и хозяин про неё не думал и не спрашивал.

Руки у Сарры были широкие, красные, с трещинами на костяшках, которые затягивались к лету и лопались к зиме, так что месяцы она считала по ним вернее, чем я по своему мху. В холода мазала их гусиным жиром, и ладони после блестели и пахли кухней.

* * *

В то утро она торопилась. Старшая кашляла всю ночь, отвар выкипел, воды в доме не осталось, а Якову вставать в шесть, и до этого часа надо было успеть и с колодцем, и с печью, и с луковицей.

Верёвку она перехватила у самого сруба, пеньковую, мохнатую, с узлами через каждый аршин, мокрыми и скользкими, и потянула. Ведро пошло вверх, но на середине она взялась выше, чем надо, узел выскользнул из-под пальцев, и верёвка ушла обратно. Внизу глухо ударило о воду.

Сарра постояла, глядя вниз, в темноту, и не сказала ни слова. Потом поплевала на руки, вытерла их о фартук и начала сначала.

Второй раз она тянула медленно, перебирая руками, и волокна впивались в кожу и оставляли на коже рисунок, похожий на ветку дерева, и держался он до полудня. Шло оно из глубины, где вода жила и подниматься не думала, и внизу была она чёрная, а на дворе становилась прозрачной, и свет её преображал, как меняется лицо человека, когда он выходит из дома на улицу.

Я стояла у крыльца и за водой не шла, пока она не управилась. У колодца двоим тесно, а торопить человека, у которого дома больной ребёнок, последнее дело.

Она вытащила его, перехватила за дужку и пошла к дому, а у порога обернулась.

— Доброе утро, тётя Роза, — говорила она каждый день одними словами и с одной интонацией, и «доброе» звучало у неё не пожеланием, а описью: проснулись, дети живы, колодец на месте, вода в нём.

— Доброе утро, Сарра, — отвечала я.

Вёдра у нас были одинаковые, деревянные, с железными обручами, от бондаря Мотла, который набивал их туго и брал за это лишний грош. В местечке к каждому второму имени

прирастало «кривой» — кривая Хая, кривой бондарь, кривой Гершеле-извозчик, — и никого это не обижало. Прозвище не судило, а различало, вроде бороды у мужчин или платка у женщин, и без него имя плохо запоминалось.

Обе мы выходили с водой в пять утра, только я ношу её шестьсот лет, а Сарра тридцать. Она иногда взглядывала на мои ладони, быстро, мельком, как смотрят на вещь, которая не даёт покоя. У неё мозоли, трещины, жёлтая кожа на костяшках, у меня гладко, как у девочки. Спрашивать она не спрашивала, я не объясняла, и между нами оставались двор, колодец и этот час.

* * *

На рынок мы ходили по вторникам и пятницам, к синагоге. Площадь была утоптана и изрыта колёй, лужи не просыхали с марта до поздней осени, а к морозам замерзали бурым льдом с соломой и конским навозом, и ходить по нему было скользко. Торговали с телег и прямо с земли: горшечник раскладывал товар на рогоже, мясник рубил на берёзовом пне, а мальчишка бондаря бегал между рядами и продавал воду по глотку тем, кому лень было тащиться за ней самому.

Кривая Хая, что торговала капустой, упала на этом льду три зимы подряд и всякий раз объясняла это Божьим наказанием. Выходило по её словам, что Бог взыскивает с неё строго за левый бок, непременно в холода и не иначе как на площади, и местечко видело тут не вздор, а устройство мира. Бочка не свалилась ни разу — тяжелее хозяйки. Физику Хая не учила, а посуду не роняла.

Стояла она на двух чурбаках, и пахло от них берёзой, от неё самой капустой и рассолом, а от Хаи кислым потом, луком и нафталином из шали, которую она надевала в ноябре и снимала в мае. Шаль была чёрная, дуб просмолённый, тоже тёмный, и хозяйка в этой темноте сливалась со своим товаром.

— Тётя Роза, — говорила Хая, когда я подходила.

У Сарры «тётя Роза» выходило с теплом, у Хаи с расчётом. Она знала, что я беру много и не торгуюсь, а мешала мне не щедрость, а усталость — после шестисот лет полпроша скидки на капусту не стоят разговора.

— Капуста свежая? — спрашивала я.

— Как роса, — говорила Хая. — Как утренняя роса, тётя Роза, свежее не бывает, вчера солила, сегодня продаю.

— Вчера — это не свежая, — вставляла Сарра. Ходили мы туда вместе, не сговариваясь, и за три года это сделалось законом, каким тут были все законы, писать которые никому не приходило в голову. — Вчера — это вчера, а свежая — это сегодня.

— Сарра, деточка, — Хая произносила «деточка» так, как произносят «покупательница», только ласковее. — Сегодня я не солила, сегодня вторник, а солю я по понедельникам и четвергам, по понедельникам с тмином, по четвергам без. Эта — с тмином. Тмин свежий. И тмин стоит денег. А деньги не капуста, деньги не киснут.

— Деньги не киснут, — соглашалась Сарра. — Но и не хрустят.

Смеялись обе коротко и без тепла. В торговле смех — оружие обоюдоострое, и они про это знали. Позади ржала чья-то лошадь, у пня опускался топор, и от свежей рубки тянуло мясом и сырым деревом. Я стояла рядом и молчала, не из вежливости, а из любопытства: две женщины по щиколотку в грязи вели переговоры, каким позавидовал бы Мишель, только он торгуется с банкирами о процентных ставках, а эти о капусте, и у него разница считается в нулях, а у Хаи их нет вовсе, есть полпроша, и это целый мир.

В ту пятницу она развязала платок, где держала мелочь, и пересчитала её на ладони. Потом ещё раз, уже медленнее, и я поняла, что не хватает.

— Полкочана, — сказала она.

— Половину не режу, — ответила Хая. — Кочан целый или никакой. Резанный до субботы не долежит, а отдавать задёшево мне не праздник.

Сарра постояла, подержала монеты в горсти и ссыпала обратно в платок.

— Тогда никакой.

И пошла к горшечнику приглядываться к тому, чего покупать не собиралась: с площади сразу после отказа не уходят.

Я взяла у Хаи два кочана, расплатилась и, пока она отсчитывала сдачу, вынула из своего мешка головку чеснока, крупную, в фиолетовой шелухе, и опустила Сарре в корзину, когда та вернулась. Она увидела, ничего не сказала, только переложила её из правой руки в левую, и мы пошли домой.

* * *

По субботам Яков не работал, и копоть на потолке в этот день не прибавлялась, а огонёк горел не за перегородкой, а на столе, в медном подсвечнике. Сарра начищала его песком каждую пятницу до такого блеска, что в боку отражалось окно, за окном двор, во дворе колодец, и весь мир умещался в этой округлости — кривой, искажённый, но целиком.

Молитву Яков читал тихо, почти шёпотом, тем же голосом, каким разговаривал с заказчиками, без чувства и без подъёма, без дрожи, какую я слышала у кантора в синагоге. Кантор пел так, что бежали мурашки, а Яков проговаривал, будто список покупок, обращённый к Богу, и тот, судя по всему, не обижался — с ним говорили без интонации, с привычкой не обещать лишнего.

Дети сидели смирно, впятером вокруг стола, на лавках. Давид, старший, четырнадцати лет, уже с пушком над губой, трогал его пальцем каждые десять минут, проверяя, не стали ли усы. Не стали. Мойше, средний, двенадцати, держал книгу на коленях и читал во время молитвы, и мать это замечала, а отец нет, и она молчала. В руках у него была Тора, а за неё не бранят.

Хана и Ривка, десяти и восьми лет, сидели плечом к плечу, и старшая ковыряла ногтем щербину в столе, а младшая не сводила глаз с огонька, и пламя стояло у неё в зрачках, и глаза были как два окна в комнату, где горит огонь.

Лейзер, тринадцати лет, устроился с краю, у стены, на табурете, отдельно от всех. Пушка над губой у него не было, книгу забрал Мойше, а щербин в столе до него не доставали. Садился он так всегда — у забора, у двери, у любой опоры, откуда можно встать и уйти, никого не потревожив. Навык этот вырастает в семье, где пятеро детей и мало места, и кому-то достаётся середина, а кому-то край.

Смотрел он на отцовские ладони. Яков держал молитвенник обеими руками, и были они те же, что за перегородкой, с чернотой под ногтями, с мозолями, с запахом дёгтя, который не выветривался и в субботу. Думал он при этом, полагаю, не о молитве, а о том, что эти пальцы — всё, что есть у отца, и всё, что будет у него самого, если он останется. В тринадцать лет такого ещё не формулируют, но чувствуют, как чувствуют сквозняк из-под двери, которую ещё не открыли.

* * *

Птицу Сарра ставила на стол не быстро и не торжественно, а буднично, как вносят из сеней ведро, вот, готово, берите. Блюдо было глиняное, коричневое, с трещиной по краю, замаслированной тестом. Им в доме Мейеров чинили всё — склеивали посуду, забивали зазоры в окнах, залепляли дыру в печной трубе, — и всё хозяйство на нём и держалось, вроде как мир на слове, только слово ненадёжно, а тесто верно, пока не засохнет.

Резала она тупым кухонным ножом с деревянной ручкой, обмотанной бечёвкой поверх старой щели, и лезвие входило медленно, с нажимом, и корочка похрустывала. Звук был субботний, наравне с молитвой и потрескиванием свечи. Кашель за перегородкой в этот день стихал, дочь получала каплю мёда из банки с верхней полки, а шёл он по три копейки за ложку,

луковица же не стоила ничего, и от этого неравенства суббота делалась слаще, чем если бы его давали каждый день.

Каждому доставалось своё — отцу ножка, Давиду крыло, Мойше грудка, дочерям шея и спинка, а Лейзеру печёнка, тёмный кусок с горчинкой, завернутый в тряпку, чтобы не остыл. Себе Сарра не положила ничего и села перед пустым блюдом.

Хана это увидела, отложила ложку, набрала воздуха и открыла рот, и я через окно поняла, что она сейчас скажет, а говорить этого нельзя — придётся отвечать при всех, а отвечать нечего.

Сарра подняла на неё глаза, только подняла, ничего больше, и Хана закрыла рот, взяла ложку и стала есть свою шею, а мать пододвинула ей солонку, будто дело было в соли.

Лейзер унёс печёнку к своему табурету, сел и ел молча, жуя неспешно и зажмурившись, как жмурятся, слушая музыку, — не чтобы не видеть, а чтобы вкус вышел полнее. Горький, железистый, тёплый, он и был, пожалуй, самым сильным чувством его тринадцатилетней жизни, сильнее страха и сильнее голода. Печёнку откладывала мать, и в куске помещались и она, и тепло, и суббота, единственный день, когда мир не давит, а держит, как ладонь под щекой, когда засыпаешь.

Всё это я видела через окно, с крыльца, из темноты, сквозь отражение собственного лица: Лейзер жуёт у стены, Давид трогает пушок, Мойше не отрывается от книги, Ривка облизывает палец, а Сарра сидит перед пустым блюдом.

* * *

Мастерской у Якова, по совести, не имелось, а был угол комнаты, отгороженный сосновой доской. Лет десять назад в ней выпал сучок, и через дырку Ривка подглядывала, как работает отец, а он про неё знал и не затыкал. Больше того, работу на верстаке поворачивал подошвой к той стене, где щёлка, и делал это, не поднимая головы, будто подставлял её под свет.

За перегородкой было тесно, пыльно и тянуло дёгтем, и на верстаке умещался один сапог, всегда чужой, и это означало хлеб. Добывал его Яков не из пашни, как крестьянин, а из подмётки, и кормила она надёжнее: земля зависит от неба, обувь от ноги, а нога ходит всегда.

Работал он ночью, а вечером сидел с Саррой, и они молчали, и тишина у них была супружеская, которой слова не нужны. Кончились они двадцать лет назад и с тех пор не прибавлялись, зато она делалась плотнее, а плотная дороже жидкой болтовни, как наваристый бульон дороже пустого. Сарра вязала носки, шерстяные, для Давида, у которого прежние стёрлись, а у меня на спицах был шарф, бесконечный, серый, ни для кого, и в этом вся разница между смертной женщиной и мной — у неё работа кончается, у меня нет.

После десяти, когда дети засыпали, Яков уходил к себе за перегородку и зажигал сальную свечу с жёлтым коптящим пламенем. Тени ложились на стену длинными кривыми полосами и повторяли каждое его движение, и выходил театр, только на сцене это делают нарочно, а тут от бедности, и представление никто не смотрел, кроме Ривки в её щёлку.

Брал он сапог, всё равно какой, клал на колено, вёл ладонью по подошве и находил прореху пальцем. На ощупь она выдаёт себя вернее, чем на глаз, — сверху видна одна поверхность, а пальцу открывается дно, и по нему о хозяине узнаёшь больше, чем по лицу. Мелкая — ходит по мощёной, глубокая — по грунтовой, косая — хромает, овальная — бегаёт, и в каждой прорехе записана чья-то жизнь.

Потом шёл в дело нож, узкий, наточенный до того, что кожа расходилась без звука, и старую подмётку он срезал по краю, не торопясь. Стружка падала на пол тонкая, загнутая, и несло от неё дублёным духом, и держался он в углу так же прочно, как чеснок у меня в кухне, — вытравить нельзя, выветрить тоже, можно только привыкнуть, а привычка уже часть тела.

Дальше шла набойка, и Яков прикладывал кусок новой кожи, вырезанный по форме подошвы, и примерял его, как портной ткань, и работал по волокну, по миллиметру, чтобы

нога не почувствовала шва. Ей не положено знать, что обувь чинёная, а больному — что лекарство дешёвое, помогает-то одинаково, а вера в дорогое обходится дороже.

Гвоздики он набирал в рот, по пять штук, доставал по одному языком, передавал в пальцы, и молоток шёл тук-тук-тук, тихо, не спеша, как стучит мелкий дождь по крыше. Я слышала это через двор и знала, что он работает, значит, всё в порядке, и порядок этот хрупок, как блюдо Сарры, замазанное тестом, а стоит, пока стоит. Утренним голосом местечка был удар ведра о сруб, дневным — крик Хаи на рынке, вечерним — молитва, а ночным — эти гвоздики.

* * *

Лейзер забирался на верхнюю доску забора каждый вечер, после ужина, когда посуда вымыта, пол подметён, Сарра за вязанием, Яков за работой, Давид с мальчишками на улице, Мойше с книгой, а дочери спят.

Садился он и болтал ногами, и гвоздь в доске впивался ему в бедро через штаны, а он терпел. Всякое движение привлекало внимание, а мальчишки на улице были громкие, и громким нужен тихий, чтобы было над кем смеяться.

Сверху ему открывались двор, колодец, крыша синагоги и полоса неба. Низким оно казалось не от облаков, а от привычки — люди ходили, глядя под ноги, в грязь, и вверх не глядел никто, наверху нет ничего полезного, ни капусты, ни подмёток, ни мёда по субботам.

Голову он запрокидывал и смотрел в то самое небо, до которого никому не было дела, а там ни облака, ни птицы, только густой синий цвет, какой стоит вечером, когда солнце ушло, а темнота не пришла. Между ушедшим и непришедшим — синева, и за синеву эту никто не спросит, и в ней он сидел и смотрел, а о чём думал, не говорил, и я не допытывалась.

Штаны от гвоздя рвались, и в тот вечер Сарра нашла дырку и сказала: «Опять», — и это «опять» стоило двадцати минут штопки. Подсела она к свече, вдела нитку с третьего раза, к ночи глаза у неё уже не держали, прошла шов до середины — и нитка кончилась.

Катушку она поднесла к огню и повертела — на картонке ничего не осталось. В лавке новая стоила три копейки, а трёх копеек в доме не было до пятницы.

Тогда она взяла старую юбку, ту, что висела на гвозде у двери и надевалась по субботам, вывернула подол и стала пороть шов — медленно, ногтем, вытягивая нитку по волоску, чтобы не оборвать. Вытянула на ладонь, потом ещё, смотала на палец и вдела снова. Юбка после этого держалась на живую нитку и до холодов разошлась бы, только холода были ещё не завтра, а Лейзеру идти в школу утром.

Я смотрела в окно и не пошла к ней с нитками. Их у меня хватало, только принести значило сказать вслух, что я всё видела, а видеть такое чужому человеку не полагается.

Штопала она ещё полчаса, и эти полчаса шли из её сна, а сон дороже ниток, и нитки дороже штанов, и штаны дороже гвоздя, и один только гвоздь ничего не стоит. Бесплатно в местечке лишь то, что приносит убыток.

Сидел он там изо дня в день, и с крыльца мне было видно — ноги болтаются, голова запрокинута. Потом он опускал её, разглядывал колени, дырку от гвоздя, и небо кончалось, начиналась Сарра с иголкой.

* * *

Осенью ко мне стала ходить Сарра, и не в гости, — по чужим домам в местечке не бегали от безделья, а безделья не случалось, — а за чесноком. У меня он не переводился, провансальский, с фиолетовыми прожилками, Шимон привозил его из Льежа раз в три месяца, в кожаном мешке, переложенный сухой лавандой, чтобы не портился в дороге.

От местного он отличался, как город от деревни. Здешний был мелкий, злой, с резким запахом, от которого драло нёбо и слезились глаза, а мой крупный, мягкий, и дух у него не жёг, а обволакивал. Разницу Сарра почувствовала, когда попробовала мой бульон, и с тех пор повадилась.

Являлась она вечером, когда Яков уходил за перегородку, а дети расползались по углам. Стучала двумя короткими ударами костяшек, свой стук, по которому я её узнавала, как Лейзер потом станет узнавать меня по запаху чеснока. Я открывала, она входила, садилась на табурет у плиты и не говорила зачем, а я не спрашивала.

Чеснок я чистила при ней, брала головку, разламывала надвое — хрясь, и шелуха летела сухая и лёгкая, похожая на крылышки, — отделяла зубчик, снимала тонкую полупрозрачную кожицу. Под ней он был белый, влажный, тугой, с каплей сока на срезе, и сок этот щипал палец, если на коже трещина. Трещин у меня не бывает.

У Сарры они не сходили, и когда я подавала ей очищенный и сок попадал в разрыв, она морщилась быстро, на одно мгновение. Этим она себя и выдавала, и показывала не боль в пальце, а всё разом — верёвку, фабричные ботинки, которые перешивала на дому за три копейки, кашель дочери, молчание мужа. Потом обтирала палец о фартук, брала его снова и держала крепче, чем нужно. Я видела, она знала, что я вижу, и обе мы молчали, и молчание это было беседой — о соке, о боли, о трещинах и о жизни, которая жжёт всякий раз, как найдёт открытое место.

Мы сидели, я чистила, на плите доходила тушёная капуста с грудинкой, и этим голосом говорило моё жильё. У Сарры за перегородкой отзывался кашель, у Якова стучали гвоздики, у Гершеле во дворе переступала лошадь и вздыхала по-человечески, у горшечника за три двора визжал круг, и все дома разговаривали каждый по-своему, и складывался негромкий ночной хор — местечко, когда все по своим углам и все за делом.

— Тётя Роза, — сказала Сарра однажды, в ноябре, когда за окном шёл первый снег, тонкий, неуверенный, ещё не знающий, останется он или растает.

От чеснока я подняла голову и посмотрела на неё.

— Вы давно тут живёте?

— Давно, — сказала я.

— Давнее нас?

— Давнее.

Сарра помолчала, повертела зубчик в пальцах, как вертят монету, когда думают, потратить или приберечь.

— У вас руки молодые, — сказала она без зависти, с удивлением, какое копится годами и однажды выговаривается, и назад его уже не вернёшь.

— Руки как руки, — сказала я.

— Нет, — сказала Сарра. — Не как руки. У вас руки — как у моей Ривки. А Ривке восемь.

Я не ответила, положила зубчик на доску, взяла короткий нож с широким лезвием и разрежала пополам, и срез был влажный, белый, и запах пошёл по кухне, будто человек перестал шептать и заговорил в полную силу. Половинку я опустила в кастрюлю, и суп принял её молча, без всякой благодарности.

Сарра не сводила глаз с моих рук, я глядела в кастрюлю.

— Спасибо за чеснок, тётя Роза, — сказала она, встала и ушла, и дверь закрылась, и я осталась одна, а на плите булькало, и снег за окном падал, и руки мои лежали на столе рядом с ножом и шелухой.

Поднялась я и вымыла их. Вода была холодная, колодезная, с привкусом железа, и от холода кожа покраснела и на минуту-другую стала такой же, как у Сарры.

2. Погром

Минская губерния. Апрель 1901 года.

Новость привёз Гершеле-извозчик — не на телеге, а на лице. Серым оно было, как зола, и серость шла не от пыли и не от усталости, а от того, что он видел в Дубровне. Увиденное осело на нём, как сажа на побелённой стене, и не сходило.

Лошадь он не распряг, остановился у колодца, слез, привязал вожжи к столбу и стоял, держась за оглоблю, будто без неё не устоит. Первой подошла кривая Хая, за ней Мотл-бондарь, потом бабы от синагоги, потом дети, потом Яков с фартуком через плечо, — и через минуту у сруба набралось человек двадцать, и все примолкли, и молчание стояло не тишиной, а густотой, какая бывает в воздухе перед грозой, когда дышать ещё можно, но уже трудно.

— Сколько? — спросил Мотл.

Спросил он не «что случилось» и не «кого», а сразу «сколько», и по этому вопросу было видно, что новость он понял раньше, чем её сказали.

— Трое, — ответил Гершеле. — И двенадцать битых. Лавки жгли.

Кто-то за спинами повторил «трое» вслух, будто пересчитывая. Хая прижала ладонь ко рту и подержала так.

— Ребе Нахман жив, — прибавил Гершеле. — Глаз выбили, левый. Сидит на крыльце и держит его ладонью.

Как держит, Гершеле показал, приложив ладонь к своему лицу, и рука была в конском поту, и все двадцать человек смотрели на эту руку, а не на него.

— Двадцать вёрст, — сказал Мотл. — Полдня на телеге.

— Верхом два, — сказал Гершеле. — За два и доехал.

* * *

— Казаки? — спросил Яков.

Стоял он в стороне, у самого сруба, и голос звучал без вопросительной интонации. Он не спрашивал, а уточнял. Казаки — одно, соседи — другое, и от ответа зависело не что делать, делать было нечего, а как бояться.

— Не казаки, — сказал Гершеле. — Соседи.

Никто не ответил словом. Хая поправила шаль. Сарра переложила корзину из правой руки в левую. Мотл сплюнул в пыль и растёр сапогом. Гершеле отвязал вожжи. И каждое движение было ответом, какой не произносят, а показывают телом, и оно говорило: слышали, поняли, живём дальше, пока живём.

Соседи были хуже казаков. Те приезжают и уезжают, а эти остаются, и жить рядом с человеком, который вчера бил тебя колом, а сегодня кивает через плетень, — умение, которому нет названия, и владел им каждый еврей в черте оседлости, от рождения до смерти.

Толпа разошлась не сразу и не вся вместе. Сперва ушли дети, которых погнали, потом бабы, потом Мотл, и последней осталась Хая, и стояла она у сруба, пока Гершеле не увёл лошадь, а после пошла к своей бочке и до вечера торговала как ни в чём не бывало, только сдачу дважды отсчитала неверно.

* * *

Вечером Сарра не готовила, сидела на лавке у печи и смотрела в огонь. Берёзовые поленья пощёлкивали, и звук был тот самый, с каким горят подожжённые лавки, и только двадцать вёрст отделяли домашнее пламя от погромного.

Дети в тот вечер притихли, и Давид сидел у стола, пушка не трогая, не до него. Мойше закрыл книгу и положил её на колени переплётом вверх, как кладут лицом вниз карточку человека, которого не хотят видеть. Дочери жались друг к другу на лавке, плечо к плечу, теснее обычного. Лейзер устроился на полу, у ног матери, и водил пальцем по пыльным доскам —

круги, квадраты, что-то неразборчивое, — и было это не игрой, а работой рук, пока голова занята тем, для чего слов ещё нет.

Я зашла с кастрюлей, не постучав, — толкнула дверь, и она подалась. В местечке не запирались, замки стоили денег, воровать было нечего, а от погрома железо не спасёт. Сарра подняла голову, не удивилась и не поблагодарила, а сказала только:

— Тётя Роза.

Одно имя, без «спасибо» и без «зачем», а держало оно крепче засова, которого в доме не было.

Я поставила кастрюлю на стол и сняла крышку. Пар поднялся, и комната, где пахло дымом и тревогой, наполнилась чесноком и укропом, и дети сошлись, все пятеро, молча, и Давид взял миску сам, и Мойше подождал, пока нальют, и дочери встали рядом, и Лейзер подошёл последним и ел стоя, прижавшись к косяку.

Яков в тот вечер к столу не сел. Ушёл за перегородку и стучал там до полуночи, чаще обычного, без пауз, и по частоте я поняла, что работы у него на сегодня нет, а есть только молоток.

Сарра смотрела, как едят дети, и в глазах у неё стояло то, чему не нужен перевод — накормлены, живы, — а в двадцати вёрстах догорали лавки.

* * *

Через неделю пришла записка от Гершона, и не по почте, а через Шимона, единственного из наших, кто в те годы ездил по России с бумагами на имя немецкого коммивояжёра, торговца галантереей. Привёз он её в кожаном конверте, вместе с новым маршрутом для писем — прежний перехватила охранка, и Мишель считал убытки — и тремя рублями на расходы, к которым приложил расписку в двух экземплярах.

Внутри лежали три слова, его почерком, крупным, с нажимом, будто каждая буква — камень, положенный на место: «Наблюдай. Считаю. Жди».

Наблюдать я умела и без указаний, а считать — дело Мишеля, но писали мне, значит, считай по-своему: не деньги, а людей, не расходы, а лица, не франки — судьбы. Ждать у Гершона означало не сидеть сложа руки, а держаться наготове, вроде кипятка в котле под крышкой, — снаружи тихо, внутри бурлит.

Ждала я и наблюдала, и к осени четырнадцать семей из нашего угла собирались уезжать, восемь из соседнего, шесть из Дубровны. Адресом, у кого он был, делились неохотно, как хлебом, а отказать — грех, и грех тяжелее краюхи. Я считала чемоданы на рынке, деревянные, обитые жёстью, с замками, которые не запирались, но создавали видимость. Считала прощания — сколько слёз, сколько объятий, много ли «дай Бог» и часто ли «доедешь — напиши», и писали единицы, и доезжали не многие, а благословение получал каждый.

* * *

Мейеры уезжали в марте тысяча девятьсот второго года.

Инструмент Яков продавал во дворе, разложив на мешковине: молотки, колодки, шила, две колотушки, деревянную ногу для правки голенищ. Пришёл сапожник из Дубровны, у которого лавку не жгли, — не было у него лавки, а была скамейка под навесом, — и стал перебирать.

— Молоток бери за двадцать копеек, — сказал Яков.

Дубровенский взвесил его на ладони, постучал по колодке, послушал и предложил пятнадцать. Яков согласился и не торговался, а после спустил и колодки, и шила, и всё за столько, сколько давали, и мешковина к полудню опустела.

Нож на ней не было. Он лежал в доме, в чемодане, завёрнутый в тряпку, — узкий, с деревянной ручкой, наточенный до такой остроты, что кожа расходилась под ним без звука. Сапожник спросил, нет ли резака, и Яков ответил, что нет, и ответил не задумываясь, и это была единственная неправда, которую я от него слышала.

Оставить его он не мог, как не оставляют пальцы. Лезвие приросло к ладони, и без него рука чувствовала себя голой.

* * *

Перину продавали в четверг. Хая пришла сама, поднялась на крыльцо, обмела валенки веником и вошла, и в доме сделалось тесно, вошла она вся, с шалью и с голосом.

Вынесли её на середину комнаты — тугую, белую, высокую, как облако. Пух в ней собран по пёрышку за три года, с пяти гусей, которых Сарра ощипывала живыми, прижимая к коленям, и птица кричала, а она молчала, и пёрышки летели, и она ловила их в мешок, и мешок наполнялся, и вышла наконец постель, под которой родились трое из пятерых и на которой умерла свекровь.

Хая пощупала угол. Взяла двумя пальцами, помяла, поднесла к свету, посмотрела на просвет, нет ли пера с очинком, и опустила.

— Три рубля.

Сарра не ответила. Стояла и смотрела на неё, и молчала так долго, что Хая переступила с ноги на ногу.

— Три рубля, — повторила Хая, тише.

— Хорошо, — сказала Сарра.

Мало это было, и знали обе, и обе промолчали. О перине, в которой жизнь, не торгуются, как молчат о цене хлеба в голодный год. Хая отсчитала деньги, положила на стол и не пересчитала второй раз, чего за ней сроду не водилось, а перину подхватила и понесла, и в дверях зацепилась плечом о косяк, и пух мягко ударил о притолоку, и звук был как вздох.

* * *

Я пришла в день отъезда и стояла у калитки с бульоном в банке, закрытой тряпкой и перевязанной бечёвкой. Сарра вышла в платке, в пальто, с мешком через плечо, следом Яков с чемоданом, за ним дети, один за другим, как утята за уткой, и Лейзер последний, с узелком, где лежало всё его имущество — рубашка, пара носков и книга, а какая, не знаю, он не показал, и я не спросила.

— Тётя Роза, — сказала Сарра.

Я протянула банку, и она взяла её обеими ладонями, как берут ребёнка, бережно, не глядя, зная вес.

— На дорогу, — сказала я. — Хватит до Гамбурга, если не разольёшь.

— Не разолью, — сказала она.

У ворот ждала нанятая телега с мохнатой бурой лошастью, которая жевала овёс из торбы и пассажирами не интересовалась. Погрузились быстро: чемодан на дно, мешок сверху, дети по бокам, Сарра с банкой на коленях, Яков рядом с возницей. Тот щёлкнул кнутом, лошадь тронула, повозка скрипнула, и скрип этот — дерево по грязи, ось в колесе, ступица на оси — был последним звуком, который я слышала от Мейеров в местечке.

У соседнего забора стоял Шмулик Гельбфиш и грыз зимнее яблоко, сморщенное, с кислинкой. Он смотрел вслед Мейерам и грызть перестал, и этот недоеденный огрызок я запомнила, сама не знаю отчего. А на следующей неделе Шмулик пришёл ко мне и спросил, далеко ли до Гамбурга, и я ответила, что далеко, а он сказал: ничего, дойду, — доел и ушёл, и дошёл.

Повозка удалялась по грязи, и я смотрела ей вслед, и рядом стояла кривая Хая с купленной периной, прижимая её к животу, как прижимают грелку, когда болит. Пух держит тепло дольше, чем человек, и человек уехал, а оно осталось, и Хая стояла с чужим и глядела на дорогу, по которой увезли женщину, торговавшуюся с ней о капусте три раза в неделю. Капуста будет, а Сарры нет, и Хая это понимала, и я тоже, и между нами остались колодец, пятый час и пустота, которая заводится не в воздухе, а в привычке. Привыкла я к её «Доброе утро, тётя Роза», и теперь эти два слова некому сказать, а без них рассвет — просто время суток.

3. Дорога

Минская губерния — Гамбург — Атлантика — Нью-Йорк. 1903 год.

Записка пришла в феврале, в мешке пшеничной муки, немецкой, какую Мишель закупал оптом в Дюссельдорфе по цене, от которой мельник плакал, а покупатель был счастлив. Вынула я её белой, и почерк Гершона проступал сквозь пыль, будто буквы на старом камне из-под смытого дождём мха.

Одно слово: «Езжай».

Не «поезжай», а «езжай» — Гершон берёт буквы, как Мишель деньги, каждая на счету, и лишняя уже расточительство.

Собралась я за день, и вещей у меня всегда мало — медная кастрюля с вмятиной на боку, полученной в Авиньоне, когда я уронила её на каменный пол крипты, и за четыреста лет она выросла в посуду, как шрам вырастает в лицо, короткий нож с широким лезвием для чеснока, липовая ложка, купленная на рынке в Кракове в тысяча четыреста двенадцатом году и потомневшая за пятьсот лет до сходства с костью, клубок шерсти, спицы, три головки провансальского в тряпке и одно запасное платье, которое я перешивала каждые двадцать лет, подлаживаясь под моду, хотя менялась она чаще, чем я успевала. В местечке это было неважно, там она вещь такая же условная, как «завтра» для человека, который не уверен, что доживёт.

Кур я отдавала Хае во дворе, при свидетелях, чтобы после не вышло разговора. Было их три, рыжие, и звали Хана, Двойра и Гитль. Именованная несётся лучше безымянной, и это не суеверие, а наблюдение за четыре столетия.

— Кур корми пшеном, не рожью, — сказала я. — От ржи жидкий желток.

— Знаю, — сказала Хая.

— Хану не пугай, она с перепугу три дня не несётся. Двойра клюётся, не подходи слева. Гитль спокойная, но хитрая, прячет яйца за печкой.

Хая слушала, повторяя за мной каждое имя, а когда я кончила, взяла корзину и понесла к себе, и на середине двора остановилась и переложила её в другую руку — тем же движением, каким перекладывала свою Сарра, когда не знала, что сказать.

Ключ от дома я тоже отдала, хотя дверь не запиралась, — вещь бесполезная, а весила она тут больше замка.

Хая стояла у порога и смотрела, как я ухожу, и в здоровом её глазу — второй был кривой, он и дал ей прозвище — читалось выражение, какое бывает у людей, провожающих навсегда. Знала она это не умом, а кожей, чутьём, что живёт в локтях и коленях.

— Тётя Роза, — сказала она и замолчала, и я не стала ждать, повернулась и пошла.

Мешок был лёгкий, дорога длинная, до Гамбурга шестьсот вёрст, и между тем и другим шла я, и не страшно мне было, и не грустно, и не радостно, а привычно. Уходить — вторая наука после ожидания.

* * *

Границу мы перешли ночью, двадцать три человека из трёх местечек, собранных агентом судовой компании, который ездил по черте оседлости, как корабейник, только вместо ситца продавал пароходные билеты по тридцать два рубля, годовой заработок Якова Мейера, и за эти деньги полагалось место в трюме, хлеб, вода и право блевать за борт, когда начнётся качка.

Вёл нас Янкель Кривой, не родственник Хаи, но с тем же прозвищем. Тропу он знал как собственные пальцы — по запаху, по наклону земли, по хрусту под ногой: сухое значит высоко, сырое низина, а в низине болото, и утонуть на границе обидно — не смертью, а её бессмыслицей, хотя таких смертей в черте оседлости хватало и без болота.

На середине пути ребёнок закашлял. Мальчик лет пяти, на руках у отца, зашёлся так, что стало слышно далеко, и Янкель обернулся и поднял руку, и все встали.

Мать вынула из узла краюху, отломилась и сунула сыну в рот, чтобы он жевал и не кашлял, и мальчик жевал, и молчал, и мы ждали, и ждали долго, пока Янкель не опустил руку.

Хлеб этот был у них на два дня. Отломленного куса хватило на четверть версты, и тогда мать отломилась ещё.

Шла я последней, а впереди двигались семьи с детьми, с узлами, с чемоданами, которые цеплялись за ветки и застревали в корнях, и дети спотыкались, и матери шикали, и отцы несли на руках уснувших. Спать на плече у человека, который идёт быстро и дышит тяжело, можно только от полного доверия, и малыши доверяли, и спали, и не знали, что до жандарма полторы версты, а это десять минут бега для него и вечность для того, кто несёт. Бежать с ребёнком нельзя, уронишь.

Лес пах хвоей и прелой землёй, ветки хлестали по лицу, и я отводила их ладонью, а та была мокрой от росы. Мартовская роса холодная, не весенняя, а зимняя, ложится не от тепла, а от перепада, когда земля ещё мёрзлая, а воздух уже нет, и между ними стоит влага, и оседает она на всём — на хвое, на лицах, на чемоданах, на спящих детях, на моём мешке, на мне. Шли мы сырые, все двадцать три, и доставалось всем поровну, и разницы не оставалось между стариком и ребёнком, между мной и женщиной с грудным: вымокли все, идут все, молчат все.

К рассвету вышли к границе. Германия встретила туманом, густым, молочным, и в нём стоял столб с табличкой, которую никто не прочёл. По-немецки разбирал один Шмулик Гельбфиш, а он был уже далеко, уехал раньше и дошёл, как обещал. Шёл, должно быть, и грыз яблоко, и то яблоко было последним из домашних, а немецкие — уже не дом.

* * *

В Гамбурге нас поселили в бараке — длинном, деревянном, с двухъярусными нарами и одним умывальником на сорок человек. Назывался он «Auswandererhaus», дом для переселенцев, и название было верным настолько же, насколько верна вывеска «ресторан» на забегаловке, где подают суп из куриной кости. Внутри стоял запах хлорки, сырого дерева и ожидания, а ждущий человек пахнет не так, как работающий, — кислее, гуще, с привкусом пота, который выступает от безделья, и такой пот тревожнее трудового.

Простояли мы четыре дня, пока «Мольтке», три трубы, восемь тысяч тонн, чистили после вшей, которых привёз предыдущий рейс.

На второй день у меня кончилась курица, и я пошла к мяснику на угол, за костью. Мясник был немец, в белом переднике, и по-нашему не понимал ни слова, а я по-немецки говорю с тринадцатого века, только выговор у меня южный, кёльнский, и он его слушал, склонив голову, как слушают знакомую песню на чужой лад.

Кость он дал даром, она у него всё равно шла собакам, а я приняла её обеими руками и поблагодарила, и он поглядел на мои ладони и спросил, сколько человек я собираюсь кормить.

— Сорок, — сказала я.

Он ушёл за перегородку и вынес вторую кость, побольше, с остатком мяса на суставе, и положил сверху, и денег опять не взял, а сказал, что у него в тысяча восемьсот восемьдесят втором году тоже уезжал брат и тоже стоял в этом бараке.

Варила я на общей плите, из того, что нашлось: картошка, луковица, две кости и мой провансальский чеснок, последний. Похлёбка кормила барак, и он благодарил тишиной, какая наступает, когда сорок человек едят разом и никто не говорит: рот занят, а занятый рот — лучший собеседник.

* * *

На пятый день нас погрузили в трюм «Мольтке» — шесть рядов коек по три яруса, между ними проход в два плеча, а если плечи широкие, то в одно. Потолок низкий, над самыми нарами трубы, и гудели они не как ветер и не как голоса, а как урчит голодный живот, глухо и без перерыва, и от этого гула тряслась койка, и от койки голова, и мысли в ней ходили ходуном. Лежала я на второй полке — третья под самым потолком, а он течёт, первая у пола, а пол

воняет — и думала о Грегориусе, который сидит в Льеже, в крипте, и пьёт чай с полыньёю, и там ничего не трясётся, и чашка не расплёскивается. Три тысячи лет он сидит, а я еду, и несправедливости этой не объяснишь арифметикой Мишеля, зато её чувствует тело, лежащее на жёсткой доске, и ребру больно.

Качка началась на третий день, но её я не боюсь, за шестьсот лет пришлось походить на всём, что держится на воде, — на галерах и каравеллах, на баркасах и плотках, а однажды и на бочке, в Константинополе, когда нужно было переплыть залив, лодки не было, а бочка была, и текла, но донесла. Нутро парохода — другое. Ни воды, ни неба, ни горизонта, только переборка перед глазами, и она качается, и желудок отзывается, а между ними один запах, и к третьему дню он такой, что описывать его словами — оскорблять слова.

Варила я на плите, одной на весь трюм, в тряске, из ничего — вода, соль, луковица, ни курицы, ни кости, ни чеснока, он кончился в Гамбурге. Суп без него — молитва без Бога, форма есть, а содержание спорное.

Однажды в очередь встал толстый господин в чёрном пальто, тот самый, что с первого дня кричал, будто нас обманули и каюта полагалась с окном. Кричал он на всех и всю дорогу, и его перестали слушать.

— Мне две, — сказал он и протянул сразу две кружки. — Я не обедал.

За ним стояла женщина с грудным, и она не сказала ничего.

Я налила ему одну и поставила черпак поперёк кастрюли.

— Вторую после неё, — сказала я.

Он открыл рот, посмотрел на меня и так и стоял с открытым, а потом закрыл. Отошёл со своей кружкой, встал у переборки и выпил стоя, а вечером пришёл снова и встал в очередь последним, хотя мог бы первым, и с того дня стоял последним всегда, и кричать перестал.

Люди ели, и дети пили из кружек, обхватив их обеими ладонями, и пар поднимался вверх, и с потолка текло, и капли падали в кастрюлю, и я думала: вот, океан в моём бульоне. Хуже от этого не стало, как не стал хуже суп Сарры, которым она кормила детей на «Архимеде», холодный, загустевший, солёный не то от слёз, не то от морской воды, просочившейся через щели, — под палубой, когда дети плачут, разницы между тем и другим нет, и то и другое солоно, а солёное — вкус дороги.

Через двенадцать дней мы берег не увидели, а услышали: на палубе кто-то закричал, и звук пошёл вниз по лестнице, от голоса к голосу, от койки к койке, и все поднялись и полезли наверх, и в узком проходе толкались, и ребёнок заплакал, и мать прижала его к груди, и он умолк. Грудь — аргумент, против которого не возражают.

Наверху был воздух — солёный, резкий, холодный, с запахом водорослей и угольного дыма из трубы, — и после двенадцати дней в трюме он ударил по лицу, как ладонь, и от этого выступили слёзы, не от радости и не от горя, а от ветра. Дуло с запада, и там же лежал берег, а на берегу Америка, и выглядела она полоской серого на сером, а такого на открытках не рисуют, зато это правда, и правда редко бывает цветной.

* * *

На Эллис-Айленде нас поставили в очередь — длинную, медленную, пропахшую хлоркой и мокрой одеждой, — триста человек, и у каждого чемодан, а в нём всё, что осталось от прежней жизни и что есть для будущей. Между тем и этим стоял врач.

У стола он и работал, высокий, в белом халате, с крючком — металлическим, тонким, изогнутым. Подходишь, он поддевает верхнее веко, заглядывает внутрь, ищет трахому. Слова этого дома не знали, а тут боялись все — и в Гамбурге, и на пароходе, и в очереди, и сейчас, — и от него зависело, останешься ты или поедешь обратно, в океан, в барак, в черту, к кривой Хае и к бочке с капустой, и вся дорога впустую.

Впереди меня стояла женщина с грудным. Ребёнку было месяцев восемь, и глаза у него слезились с самого трюма, от сырости и от дыма, и она всю очередь вытирала их подолом, а они слезились снова.

Врач поддел веко. Посмотрел. Поддел второе. Женщина не дышала.

Он выпрямился, вынул из кармана платок, обыкновенный, не казённый, вытер ребёнку глаз сам и сказал что-то по-английски, короткое, и махнул рукой дальше. Она не поняла ни слова и пошла, куда махнули, и, только отойдя шагов на десять, начала дышать.

Я стояла и смотрела, как металл входит под веко — одному, другому, третьему, — и лица менялись, а инструмент оставался прежним, и руки врача, и движение: поддеть, посмотреть, качнуть головой, следующий. Один человек решал участь другого шевелением пальцев, а пальцы про это не знали, им было ведомо только — крючок, красное, не красное, дальше.

Мой черёд пришёл к полудню. Металл вошёл под кожу, холодный, гладкий, и врач увидел во мне то же, что все его собраты за шестьсот лет: здоровую женщину неопределённых лет, без трахомы, без оспин, без хромоты, без кашля.

— Name? — спросил чиновник за столом.

— Roza Goldberg, — сказала я.

Он записал: «Rose Goldberg. Country of origin: Russia. Age: 35. Occupation: cook». Тридцать пять, повар, Россия. Он не спрашивал, я не поправляла.

Так я стала Mrs. Goldberg.

Вышла я из здания, и передо мной открылся причал, а на нём люди, за людьми вода, за водой Нью-Йорк — серый, дымный, с башнями, которые выходили из тумана мачтами дальнего корабля. Стояла я с мешком, где лежали кастрюля с вмятиной, нож с широким лезвием, липовая ложка пятисотлетней выдержки, клубок серой шерсти, спицы и одно платье, и смотрела на город, а ему до меня дела не было, и это равнодушие мне в нём первым и понравилось.

4. Орчард-стрит

Нью-Йорк, Lower East Side. 1904 год.

Утро на Орчард-стрит начиналось не со света, а с крика. Голосил молочник, зазывал точильщик, надрывались разносчики газет на углу, и всё это мешалось с грохотом телег по мостовой и лязгом пожарных лестниц, по которым женщины вывешивали бельё. Висело оно на всех этажах, по всем лестницам и верёвкам, и те провисали от тяжести мокрых простыней, и с них капало вниз, на головы прохожим, а прохожие не замечали, в Нью-Йорке на голову капает всегда — сверху стирка, снизу лужи, с боков крик. Ко всему привыкаешь, и это первый урок Америки, а второй — считать.

Моё окно выходило в шахту, узкую, тёмную, — горло дома, которым он и дышал, тяжело: вдох — жареный лук с первого этажа, выдох — кислое молоко со второго, вдох — табак с третьего, выдох — сырое бельё с четвёртого, и мой чеснок с пятого, и всё это поднималось к крыше и вырывалось наружу, а нью-йоркский воздух не возражал, он и сам был не лучше.

Четырнадцать семей в доме, два нужника во дворе, одна раковина на этаже, и текла она с тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Хозяин жил в Бруклине и до нас не доезжал, а управляющий приходил первого числа за деньгами и в раковину не заглядывал, и в третий мой месяц я его остановила на лестнице и попросила зайти посмотреть.

Он зашёл, поглядел на струйку, идущую по стене за раковиной, и сказал, что вода на то и вода, чтобы течь.

Больше я не просила, а подставила под неё таз и выливала его дважды в день пять лет подряд, и от постоянной сырости штукатурка внизу пошла пузырями, и пузыри к весне лопались, и весь этаж знал, когда весна, не по календарю, а по стене.

Спускалась я по лестнице в шесть, мимо двери Гринбергов на втором, за которой ругались по-румынски каждое утро, с шести до половины седьмого, после чего старший хлопал дверью и уходил на работу, а жена его, маленькая, с острым носом, садилась у окна и плакала еле слышно. Тихие слёзы на Орчард-стрит были роскошью — громких никто не услышит, а эти слышат все и все молчат, и молчание тут заменяло сочувствие, на словесное не хватало времени.

За дверью Кацов жарили лук, всегда и ничего кроме, и старуха Кац держала его на сале с утра до вечера, и сало шипело, и запах проникал сквозь стены, сквозь пол, сквозь потолок, и весь дом был им пропитан — жёлтым, злым, едким, от которого слезятся глаза. Так же прочно стояли дёготь в мастерской Якова и чеснок у меня в кухне, и всякое жильё пахнет своим ремеслом, а у Кацев ничего, кроме этой луковицы, и не было, зато дёшево, а дешёвое в Америке не стыдно, стыдно — пусто.

Этажом ниже меня — каморка Розенблата, и дверь у неё открыта всегда. Замок сломался в тысяча девятьсот втором году, и чинить его старик не стал, и не от безденежья — пенсия от профсоюза, четыре доллара в месяц, — а чинить значило признать, что есть чего запирать, у него же не имелось ничего, кроме потухшей трубки и стула. Трубку он держал в зубах, со стула не вставал, и оба сделались его продолжением, как нож был продолжением Якова, а кастрюля моим.

Проходя мимо каждое утро, я видела одно и то же — он на стуле, трубка в зубах, глаза в стену, а стена пустая, штукатурка, трещина, таракан. Смотрели они друг на друга, старик и насекомое, и было между ними тихое подвальное согласие двух жильцов, давно притерпевшихся один к другому, и стоит оно дороже приательства, привычке слова не нужны.

— Доброе утро, — говорила я.

Розенблат не отвечал, он был глухой, но кланялся, и поклон этот оставался единственным его движением за всё утро: голова вниз, голова вверх, и вверх медленнее, чем вниз, и в

замедлении читался возраст. Лет ему было неопределённо много, как и мне, только впереди у меня времени с избытком, а у него в обрез, и оба мы сидели в настоящем, я с кастрюлей, он с трубкой.

* * *

Сарру я видела вечером, когда она возвращалась с фабрики. Швейная, на Аллен-стрит, тринадцать часов за машинкой, шесть дней в неделю, девять центов в час. Стрекотала она — тррр-тррр-тррр, — тем же звуком, что аппарат в парижском подвале, только тут шили рубашки, а там иллюзии, и рубашки стоили дешевле.

Поднималась она медленно, по одной ступеньке, и каждая давалась тяжелее прежней, и к четвёртому этажу останавливалась и дышала, и дыхание слышно было через пролёт, хриплое, с присвистом, от пыли, от хлопка, от тринадцати часов.

В первую неделю я вынесла ей миску на площадку и подождала рядом. Она поднялась, увидела меня и миску, остановилась ступенькой ниже и стояла, держась за перила, и не брала.

Тогда я поняла и ушла к себе, и дверь притворила. Через минуту услышала, как звякнула тарелка о миску.

С тех пор я ставила на площадку и уходила, не дожидаясь, и она поднимала и уносила, и мы обе делали вид, что миска стоит там сама по себе. Место между четвёртым и пятым сделалось у нас общим, как был колодец в местечке, — там встречаешься, не договариваясь.

Сарра похудела, и не от голода, а от скорости. В местечке жизнь стояла, как вода в колодце, а тут неслась, и она неслась вместе с ней: утром на фабрику, вечером домой, по дороге рынок на Хестер-стрит — не бочка кривой Хаи, а прилавки, длинные, крикливые, заваленные капустой и селёдкой, — из рынка на лестницу, с лестницы к плите, от плиты в сон, из сна в утро, из утра на фабрику. Круг вращался без остановки, а она была в нём нитью, и нить не рвалась.

Квартира — две комнаты, если считать кухню. Там и спали мальчики, Лейзер на полу, Мойше на сундуке, а сундук был короче его на полторы ладони, и ступни всю ночь свешивались с края, и по утрам ноги кололо, и это было первое, что он чувствовал в Америке.

Кошка Маня сидела на подоконнике, серая, тощая, с порванным ухом, и морда у неё была как у людей, переживших погром, — настороженность, ставшая повадкой. Назвали её в честь тётки из Бобруйска, которая осталась дома и, по словам Сарры, «тоже была серая и тоже не доверяла».

* * *

Обувь Яков больше не чинил, в Америке подмёток не латали, покупали новую пару за доллар двадцать, а через полгода следующую, за те же деньги.

На третий месяц он всё-таки попробовал. Взял у соседа с шестого разбитый башмак, принёс домой, поставил на стол и достал из чемодана нож. Развернул тряпку.

Лезвие покрылось ржавчиной, рыжей, от ручки до кончика. Сыро было и в трюме, и в бараке, и на Орчард-стрит, а железо этого не прощает.

Яков её потрогал, и вышло как палец на ране, только рана была не на железе. Потом взял тряпку и стал тереть, и тёр долго, и рыжина сходила пятнами, а под ней открывалась рябь, и по рябой стали резать нельзя — кожа пойдёт с задиром.

Башмак он соседу вернул на другой день и сказал, что времени нет.

Устроился он дворником, двенадцать долларов в месяц, и от метлы пальцы пахли пылью, а пыль не пахнет ничем. В этом «ничем» и было всё его горе: двадцать лет от него шёл дёготь и кожа, а теперь не шло ничего, и это хуже, чем «плохо», это пусто.

Сарра стояла у плиты спиной и мешала что-то в кастрюле, и не оборачивалась, и понятно почему. Обернуться — значит увидеть, увидев — признать, признав — заговорить, а говорить нечего, и это «нечего» стояло в комнате, как стоит запах, который не выветривается.

Маня прыгнула с подоконника, подошла и потёрлась о ногу, и Яков опустил руку и погладил её, и ладонь — та самая, с чернотой под ногтями, с мозолями от молотка и шила —

ходила по серой шерсти, и кошка замурлыкала. Мурлыканье да бульканье из кастрюли Сарры и были всеми звуками в комнате, и слились они не в горе и не в утешение, а в жизнь, которая идёт, пока кто-то мурлычет и кто-то варит.

Яков завернул нож в тряпку, убрал в чемодан, захлопнул крышку и только тогда повернулся и взял миску.

* * *

Кухню я открыла через месяц после приезда — не ресторан, а закуток в подвале, рядом с прачечной. Оттуда тянуло щёлоком и горячим паром, от меня бульоном и чесноком, и два духа встречались в коридоре.

Плиту я купила за три доллара у вдовы итальянца, умершего от чахотки. Пришла смотреть, а вдова стояла рядом и не торговалась, и я предложила три, и она согласилась сразу, и я поняла, что дала мало.

— Мой на ней делал пасту с базиликом, — сказала она по-английски, из четырёх слов которого два были итальянские.

Я прибавила ещё доллар. Она взяла и заплакала, и плакала не о деньгах.

Рядом стол, доска на козлах, и на нём кастрюля, та самая, медная, с вмятиной. Тарелка два цента, хлеб цент, чай цент, с сахаром два. По четвергам форшмак из селёдки, по воскресеньям куриные шкварки с луком, и шкварки шли лучше всего, потому что дешёвы и сытны.

Синьора Д'Амато приходила первой, в одиннадцать, маленькая, круглая, с веточкой базилика в волосах — от блох, говорила она, и я не спорила: помогать он не помогает, а пахнет всё же лучше. Садилась на табурет, я наливала тарелку, она пробовала, морщилась и поднимала ложку, а на ней золотистая жидкость, прозрачная, с кружком жира. Смотрела синьора на этот кружок, потом на меня и говорила: «Вуопо, та поп è зирра» — хорошо, но это не суп, — и в коротком «не суп» умещалось всё, что отделяет Неаполь от Минской губернии.

У неё суп — минестроне, с фасолью и помидорами, у меня бульон, с чесноком и укропом, и граница между кладущими помидоры и не кладущими серьёзнее государственной, ту хоть ночью через лес перейдёшь. Ходила она ко мне ежедневно, морщилась над всякой тарелкой и съедала всё до дна.

После неё являлся Розенблат, в четыре, минута в минуту, по нему сверяли часы, с потухшей трубкой. Просил чаю, не еды, и пил без сахара, горечь была ему нужна, как горчица к мясу, не для вкуса, а для остроты. Сидел, пил, смотрел в стену и уходил в пять, и уходил так же беззвучно, как являлся, и дело было не в одной глухоте: миру он сказать ничего не имел, и мир ему тоже, и оба они на том давно сошлись.

Лейзер приходил вечером, после смены, пыльный, и руки у него пахли работой — хлопком со склада, железом от скупщика, селёдкой с рынка. Садился на табурет, спиной к стене, ел и не говорил ни слова, и молчал не впустую, а по-рабочему, пережёвывая день так же, как еду, — питательное оставлял, шелуху выплёвывал.

— Тётя Роза, — сказал он однажды, между ложкой и ложкой, — а сколько стоит аренда помещения на Бауэри?

— Не знаю, — ответила я. — А зачем тебе помещение?

— Пока незачем, — доел и ушёл, а после него осталась тарелка, вылизанная дочиста, и вылизывал он не от жадности, а от уважения к еде, какое заводится у людей, помнящих, каково без неё. Я мыла посуду и думала: помещение на Бауэри, зачем, — и не знала, и не спрашивала.

Мишель, которому я отправляла отчёты через Шимона, ужасался: «Розалия, при текущих расходах ваша деятельность генерирует убыток \$0.35–0.50 в день, что неприемлемо», и я отвечала: «Мишель, бульон не деятельность, а необходимость, и она даёт то, чего ты считать не умеешь, — жизнь, два цента за тарелку», — и он не возражал, но деньги присылал.

5. Соседи

Нью-Йорк, Орчард-стрит. 1904–1905 годы.

Дом на Орчард-стрит, сорок три, был живой — не как живы люди, а как жива бочка с капустой у кривой Хаи: внутри бродит, снаружи течёт, запах стоит на три двора, и никто не жалуется, у всех своя.

Шесть этажей, по четыре квартиры на каждом, в квартире семья, в семье плита, и топились они разом, и дым сливался в шахте, и та дышала — утром жареным луком с первого, к полудню варёной рыбой со второго, к вечеру моей стряпнёй с пятого.

Имя покойного мужа вдова Кац выкликала каждый вечер, в шесть, стоя у окна в шахту. В первый раз я, не зная, высунулась и спросила сверху, что случилось, и снизу ответили не мне, а стене: «Ничего». Больше я не спрашивала, а к концу месяца различала это «Кац!» через два этажа и по нему ставила кастрюлю на огонь.

* * *

На втором жили Гринберги — Файвел, Хана, четверо детей и молчание, стоявшее между мужем и женой так же плотно, как фанерная перегородка между их кроватью и детской половиной. Было оно не супружеским, не тем, что крепнет с годами, а рваным, с дырой посередине, и дырой этой был пятый ребёнок, умерший в дороге, на «Мольтке», на третий день качки. Похоронили его в океане, а океан большой, дитя маленькое, и малое в большом теряется, и потерянное не находится, и ненайденное стоит между ними и не уходит: в океане нет адреса.

Работал Файвел на швейной фабрике, на восьмом этаже, у окна, за которым лежала улица, а он её не видел, глаза были на игле. Она ходила вверх-вниз, он подавал ткань под лапку, лапка прижимала, и пальцы его — короткие, с жёлтыми мозолями на указательных, от ножиц, не от шитья — двигались без сбоя, и точность эта была не мастерством, а способом не думать. Домой он приходил в семь, и пальцы продолжали ходить, на коленях, на столе, на краю кровати, будто под ними всё ещё ткань, и пока она не кончается, можно не поднимать головы и не видеть в лице Ханы того, чего видеть нельзя.

Хана говорила об этом, только не с мужем, а с лестницей. Выходила на площадку между вторым и третьим, садилась на ступеньку, холодную, каменную, с выщербиной от чьего-то каблука, и шептала в стену, в перила, в пролёт — Рувим, Рувим, Рувим.

Однажды я спускалась за водой и застала её там. Она услышала шаги, замолчала и стала поправлять чулок, которого не надо было поправлять. Я прошла мимо, набрала воды и поднималась обратно, и она всё ещё сидела и всё ещё поправляла, и тогда я села рядом, поставила ведро между нами и молчала с ней минут пять.

Про Рувима она мне так и не сказала ни слова. Через два дня прислала с младшим полстакана сахара, а сахар в том доме был дороже совета.

* * *

Слышала я обоих, когда спускалась за водой, и не подслушивала, а просто стены тонкие, двери фанерные, и фанера пропускала всё. Однажды в ноябре я проходила мимо и услышала грохот — сковородка об пол, — и голос Файвела, какого раньше не знала. Он никогда его не повышал, и вот повысил, и был он не людской и не звериный, а третий, каким кричат, когда год молчали и молчание лопнуло:

— Сковородка! Сковородка грязная! Я просил — одно дело, одно!

Дети смолкли, Хана не отозвалась, а он кричал про сковородку и не про неё вовсе, и понимали это все — Кациха снизу, синьора сверху, я на лестнице, и весь дом, и дом притих, как затихает жильё, когда внутри болит.

Дальше настала тишина, скрипнул стул, лязгнуло поднятое с пола железо, побежала вода из крана. Мыл он долго, дольше, чем нужно, и плеск по чугуну оставался единственным звуком

в квартире, и был он извинением, какое не произносят словами, а показывают руками: вот, мою, значит — прости.

Наутро Хана вынесла её на площадку и драила песком, хотя оттирать было уже нечего. Я проходила мимо и не остановилась.

* * *

Дом сорок три не только пах, но и звучал. Шахта с лестницей проводили звук, как труба воду, сверху вниз, без задержки, и задержать было нечем. В четыре утра дочь Кацихи выносила помои, ведро гремело о перила, от грохота просыпались тараканы, от тараканов — Розенблат, и он заводил молитву, гнусавую, скрипучую, как несмазанная петля, и она шла по шахте и будила меня. Так и жил дом: от ведра к тараканам, от тараканов к молитве, от молитвы к чесноку, от чеснока к луку, и круг замыкался к вечеру, когда вдова звала покойного мужа, и муж не приходил.

Между этажами ходили голоса. Кациха кричала дочери: «Гитл! Ведро!» — и ведро означало не ведро, а всё сразу: помои, лестницу, двор, обязанность, жизнь. Розенблат ворчал на тараканов по-древнееврейски, будто они понимали иврит, и они не понимали, но разбежались, а он считал это доказательством. Синьора пела по утрам неаполитанское, тонким голосом, непохожим на всё прочее в доме, как непохож базилик на лук, — другой, а в той же шахте. Грудной с шестого плакал в три ночи, и плач спускался по этажам и доходил вниз ровным низким гудением, и Кациха говорила: «Опять», — и означало это не раздражение, а признание: дом живёт, дети плачут, лук жарится, всё на месте.

* * *

О синьоре Д'Амато надо рассказать отдельно, была она границей, и проходила та по площадке между третьим и четвёртым, и была не политической и не языковой, а растительной. Синьора выращивала базилик в жестяной банке на подоконнике, и он лез наружу, в шахту, и запах его — сладкий, пряный, с перечным привкусом — поднимался и сталкивался с моим чесноком, который шёл сверху, и сходились они у двери Розенבלата, и Розенблат чихал, и чих его отмечал точку, где итальянское встречалось с еврейским.

Была синьора маленькая, сухая, с лицом, похожим на грецкий орех, — коричневая кожа, морщины во всех направлениях, и в каждой складке Неаполь, тот, которого я не знала, а по запаху угадывала: базилик, оливковое масло, помидоры. Помидоры она привезла с собой в банках, пять штук, и стояли они на полке, как иконы в красном углу.

Как-то у неё не осталось ни гроша до пятницы, и она это скрывала третий день. Догадалась я оттого, что она перестала ко мне ходить: две недели подряд, а тут не явилась, и назавтра тоже.

На четвёртый я спустилась. Она открыла, и за спиной у неё на столе лежала половина луковицы и стоял стакан воды, и больше там не было ничего, а на полке стояли пять банок.

Она перехватила мой взгляд и загородила полку собой.

— Non si vendono, — сказала она. Не продаются.

Я и не собиралась, поставила на стол миску, которую принесла, и ушла, и на лестнице слышала, как она сдвинула стакан, чтобы дать миске место.

В пятницу пришла ко мне и заплатила два цента, и после этого ещё раз два цента, за тот день, когда я приносила сама, и я их взяла. Не взять значило превратить соседку в нищую.

Банки простояли на полке ещё три года и, надо думать, прокисли, но открыть значило съесть, а съесть — кончить, а кончить — потерять мужа окончательно, чего нельзя, пока стекло на полке. Каждый хранит своих мертвецов в том, в чём умеет: Кациха в луке, синьора в помидорах, Хана в шёпоте на лестнице, а я в бульоне.

* * *

Как-то в марте, когда зелень ещё слаба, света мало, а в шахте темно, я спустилась к ней с тарелкой. Бульон куриный, с чесноком, обычный, тарелка фаянсовая, с отколотым краем.

Постучала двумя ударами, как стучала Сарра: одним стучат чужие, тремя дети, двумя соседи, и два удара значат — свой.

Синьора открыла, посмотрела на тарелку, перевела взгляд на меня, и нос её, маленький, острый, как у птицы, дёрнулся, и ноздри расширились, и в этом движении я прочла: чеснок. И чеснок — враг. И враг на пороге. С тарелкой.

— No, — сказала она. — Grazie, no.

Я не убрала руки, стояла, тарелка в ладонях, пар вверх, запах ей в ноздри, и она стояла, и я стояла, и между нами порог, и порог этот был границей.

— У меня бульон, — сказала я. — У вас базилик. Давайте не воевать.

Смотрела она на меня долго, как смотрят на человека, сказавшего очевидное: очевидного не говорят, а когда скажут — легче. Взяла тарелку. Понюхала. Поморщилась. Попробовала. Поморщилась. Попробовала ещё. Не поморщилась.

— È buono, — сказала она. — Ma troppo aglio.

Слишком много чеснока. Такое я слышала первый раз за шестьсот лет: до неё все мои едоки были не итальянцы, а не итальянцы на чеснок не жалуются, итальянцы же жалуются, у них свой, и свой правильнее чужого, и правильность эта национальная, а национальное непобедимо.

С того дня мы не воевали, хотя запахи по-прежнему сталкивались у двери Розенблата, и он по-прежнему чихал, но чих его стал мирным, а мирный чих — это перемирие, и на большее в доме сорок три по Орчард-стрит рассчитывать не приходится, между шестью этажами, двумя покойниками, одним океаном и жестяной банкой с зеленью.

* * *

Кациха с дочерью ссорились по вторникам, и не день был виноват, а то, что Гитл приходила с фабрики раньше и заставляла мать у плиты, а на плите сковорода, и лук жарился, и жарился не для еды, а для Каца, и мёртвому он не нужен, живой вдове нужен, и нужда эта была ежевечерней, как молитва Розенблата, и так же необъяснима со стороны.

— Мама, хватит.

— Не хватит.

— Мама, он умер.

— Я знаю, что он умер. Я рядом стояла. Ты — нет.

— Я была на работе.

— Вот и иди на работу.

Разговор шёл слово в слово, без изменений, каждую неделю, как идёт молитва, а молитве разнообразие ни к чему, ей нужно повторение, и повторение — форма, а форма держит, как держит сруб стенки колодца, чтобы земля не обвалилась внутрь.

Гитл было двадцать три года, лицо материнское, круглое, с тяжёлыми веками, а глаза отцовские, быстрые, с той подвижностью, какая у Каца, по рассказам, была главной чертой: всё замечал, всё считал, всё прикидывал, и кончилось прикидывание в один день, когда сердце остановилось за обедом, и обед недоеден, и ложка в руке, а на сковороде горело, пока вдова кричала, и горелое стало запахом смерти, и запах не выветрился и не выветрится.

Выбросить дочь хотела не лук, а саму сковороду, чугунную, тяжёлую, чёрную от нагара, с ручкой, обмотанной тряпкой, на которой, по материнскому счёту, ещё лежала отцовская ладонь. И вынесла однажды — на площадку, к помойному ведру, и поставила рядом, и вернулась в комнату, и села.

Мать вышла через минуту, подняла сковороду, обгёрла подолом и внесла обратно. Ни слова не было сказано ни тогда, ни после.

Однажды Гитл пришла раньше обычного — на фабрике отпустили в три, заказов мало — и застала мать не у плиты, а у окна. Кациха смотрела в шахту, вниз, в темноту между этажами, а в темноте ничего, и «ничего» — это то, что остаётся, пока лук ещё не жарится и имя ещё не

произнесено, и в этот промежуток она была не вдова и не жена, а просто усталая женщина, и усталость видна была по спине: плечи опущены, голова наклонена, затылок серый, с редкими волосами.

Гитл вошла, мать обернулась, и на лице не было никакого выражения, только глаза мокрые, и не от слёз, а от сквозняка, который шёл снизу вверх и вышибал слезу.

— Лук кончился.

Не «Кац умер». Не «мне одиноко». Три слова про лук означали всё это разом, и Гитл поняла, и молча вышла, и через двадцать минут вернулась с луковицей, крупной, жёлтой, в сухой шелухе, и положила на стол, и ничего не сказала, и мать ничего не сказала, и лежала та луковица между ними, как лежит договор между сторонами, которые не подписывают, но соблюдают.

Вечером на сковороде шипело, имя прозвучало, и дом дышал.

* * *

В декабре Розенблат заболел, и не тяжело — кашель, тот зимний, который в доме на Орчард подхватывали по очереди, от этажа к этажу, как подхватывали запахи и голоса: от Кацхи к Гринбергам, от Гринбергов к синьоре, от синьоры ко мне. Меня, впрочем, не брало, и это приходилось объяснять, а объяснить нечем, и я говорила «крепкий чеснок», и мне верили, и вера в чеснок в этом доме была сильнее веры в Бога, хотя Розенблат бы с таким не согласился.

Пролежал он три дня. На четвёртый я поднялась к нему с кастрюлей. Дверь была открыта, у нас не запирали, как не запирали в местечке. Комната маленькая, с одним окном в шахту, и в окне стена противоположного дома, кирпичная, бурая, с пятном сырости, похожим на карту страны, которой нет.

Лежал он под тонким серым одеялом с заплатой на углу, и заплатка была другого серого, светлее. На тумбочке стакан с водой, мутной, третьего дня, и корка хлеба, надкушенная, засохшая.

— Розенблат, — сказала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.